

*Д. А. Богач**

**ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ
В ХУДОЖЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ
«ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО****

На материале «Дневника писателя» рассматривается ценность жизни как значимая для Достоевского-художника аксиологема. Доказывается мысль о том, что писатель-публицист и писатель-художник как «фигурант» «Дневника» не эстетизирует смерть, он открывает жизнь как стержневую универсальную ценность, ценность высшего порядка, в основе которой лежит понимание жизни как абсолюта, пласт «смысложивненной» проблематики, открывающий сущность человека, его сознания в отношении к миру и обществу, деятельную природу (витализм) отдельно взятой личности и всего человечества. Данное положение открывает читателю виталистическую концепцию мира «по Достоевскому».

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, витализм, аксиология, ценность жизни, «Дневник писателя», русская литература.

D. A. Bogach

*THE VALUE OF LIFE IN THE ARTISTIC AND JOURNALISTIC DIMENSION
OF THE "WRITER'S DIARY" BY F. M. DOSTOEVSKY*

On material of "The diary of the writer" the life value as an axiology-element significant for Dostoyevsky. The thought that the publicist and the writer as "person involved" in "Diary" does not represent death is proved, it opens life as the rod universal value, value of the highest order which cornerstone understanding of life as the absolute is as the layer of a «meaning of life» perspective opening essence of the person, his consciousness in the relation to the world

* Богач Дмитрий Александрович, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (г. Челябинск); bogach_tv_86@mail.ru

** Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-011-90002 «Достоевский: pro et contra. Систематизация источников и анализ ключевых подходов к осмыслению Достоевского в отечественной культуре».

and society, the active nature (vitalism) of an individual personality and all mankind. This situation opens for the reader the vitalistic concept of the world "according to Dostoyevsky".

Keywords: F. M. Dostoyevsky, vitalism, axiology, life as value, "Diary of the writer", Russian literature.

Проблема ценности жизни традиционно является узкоспециализированным предметом философской науки, гносеологическим полем аксиологических изысканий. Однако терминологические границы этой дефиниции размыты, понятийный аппарат до сих пор не сформирован в силу сложности и плюралистичности данного научного вопроса.

Подходы к изучению ценности жизни базируются не только на философско-аксиологических концепциях [2; 4; 5; 30], но и на отдельно взятых воззрениях социологических [14; 28], юридических [3; 20; 29], акмеологических [23], религиоведческих [27; 33], антропологических [1; 9; 22; 26] и культурологических [32; 34] наук.

В литературоведческом корпусе при всей самоочевидности проблемы до сих пор отсутствуют полноценные системные исследования, посвященные интерпретации ценности жизни в художественном мире произведения, однако имеются отдельные работы, выявляющие виталистический универсум в творчестве того или иного писателя.

Так, можно обозначить, в частности, статьи В. В. Давыдова, где рассматриваются онтологические основы личностного мироотношения литературного героя и витальное начало в «Записках охотника» И. С. Тургенева [10]; работы А. Е. Кунильского, посвященные спектру значений концепта «жизнь» в публицистических и художественных текстах А. А. Григорьева, Ф. М. Достоевского, А. Н. Островского, Н. Г. Чернышевского и др., более подробно в своих изысканиях исследователь показывает особое значение в аксиологии русских писателей концепта «живая жизнь» [17; 18]; в исследованиях М. А. Шалиной (Кустовской) доказывается мысль о том, что «под "живой жизнью" у Достоевского подразумевается не столько действительность, актуальная история земного бытия, сколько духовная реальность, то, что делает человека духовно живым» [19, с. 179]; по мнению японского исследователя К. Накамура, чувство жизни у Достоевского продиктовано его пантеистическим мировосприятием: «Природа как бы несет электрический заряд, и в прикасающихся к ней людям возникает сильный ток двух видов: одни получают импульс тока жизни, а другие — тока смерти» [25, с. 110].

Как видим, виталистический универсум Достоевского в современной литературоведческой и философской науке не является чем-то неожиданным; в то же время само понятие ценности жизни транслируется, на наш взгляд, с различных методологических установок, напрямую не связанных с аксиологией, именно поэтому критерии идентификации ценности жизни в художественном произведении и мировоззренческом опыте писателя в философском корпусе не обозначены. Однако рамки статьи не позволяют нам детально остановиться на данных методологических нюансах.

Опираясь на фундаментальные работы упомянутых выше ученых, скажем, что под ценностью жизни в структуре художественной реальности стоит понимать стержневую универсальную ценность, ценность высшего порядка,

в основе которой лежит понимание жизни автором и героем как абсолюта, как сверхзначимости всего того, что окружает человека в реальности и что задано в его воображении, осмыслении, отношении к кому-то или чему-то, пласт «смысложизненной» проблематики персонажей, открывающий сущность человека, его сознания в отношении к миру и обществу, деятельную природу (витализм) отдельно взятой личности и всего человечества (в изображении и осмыслении субъектом творчества).

Интерес дostoевсковедов к аксиологии писателя определяется тем, что Достоевский и как большой художник, и как человек прожил яркую и интересную жизнь, жизнь, насыщенную различными событиями. Осмысляя свой непростой мировоззренческий и биографический опыт, в финале своей жизни Достоевский скажет: «Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла» (27; 86) (здесь и далее произведения Ф. М. Достоевского цитируются по: [13] с указанием номера тома (полутома) и страниц в круглых скобках); и данное утверждение является репрезентативным для понимания витализма Достоевского, поскольку отражает истинную ценность жизни — веру в Бога как в спасение.

И это многократно подтверждается и биографией, и творчеством писателя. Так, стоя на Семеновском плацу в ожидании казни, именно в Боге Достоевский вновь обретает жизнь, а его вера в воскрешение и бессмертие становится непоколебимой. По воспоминаниям жены писателя А. Г. Достоевской, минуты мучительного приготовления к расстрелу представлялись бесконечностью, жизнь казалась безгранично *дорогой*, хотелось вновь испытать счастье *жить долго*. Отмену приговора Достоевский воспринимает не в качестве акта осуществившейся юридической справедливости, а как рождественский сюжет — великое чудо накануне Рождества Христова, где жизнь свершилась *не благодаря, а вопреки*: «Не запомню другого такого счастливого дня! Я ходил по своему каземату в Алексеевском равелине и все пел, громко пел, так рад был дарованной мне жизни» [12, с. 111].

Эти *впечатления* лишний раз подтверждают, что Достоевский — пример человека, которого не сломили сложные обстоятельства, который не утратил веру в жизнь, и, как ни странно, страдания и испытания, выпавшие на долю автора, только укрепляли жизнеутверждающее начало его творчества.

Действительно, если внимательно перечитать Достоевского без навязанных советской идеологией стереотипов о мрачном и депрессивном писателе, то можно убедиться, что Достоевский, как справедливо отмечала Р. О. Мазель, поистине «поэт счастья, исступленно любящий живую жизнь» [21, с. 165].

В мировоззрении и творчестве Достоевского «переживание» ценности жизни наблюдается и до каторги, однако психологический опыт «открытия смерти» стал для него основополагающим, поскольку автор обрел новый взгляд на течение времени, понимание жизни как великого дара: «Как оглянусь на прошедшее да подумаю, сколько даром потрачено времени <...> — так кровью обливается сердце мое. Жизнь — это дар, жизнь — счастье, каждая минута могла быть веком счастья» (28(1); 164). К. В. Мочульский справедливо отмечал, что в этих словах «слышится потрясённость души и радостная взволнованность возвращения к жизни» [24, с. 117].

Эшафот и каторга определили фундаментальные основы виталистической атмосферы писателя, для которого даже непреодолимые страдания и испытания обратились в нуль по сравнению с высшей ценностью жизни.

С тех пор для Достоевского эта тема стала «больной», жгуче актуальной. В частности, на страницах «Дневника писателя» Достоевский касался очень серьезной криминологической тенденции — эпидемии добровольных смертей, охвативших русское общество, прежде всего молодежь. К этому вопросу Достоевский относился крайне серьезно: он досконально изучал текущую уголовную хронику, вдумчиво исследовал причины суицидальных наклонностей молодежи, пытался понять идею добровольных «логических» самоубийств.

На страницы «Дневника писателя» Достоевский выводит различные типы самоубийц, дает им свою характерологическую оценку, детально «анатомизирует» поступки юных самоубийц и их идеи, определившие решения свести счеты с жизнью. По авторитетному суждению Достоевского, среди людей-смертников можно выделить самоубийц поневоле, самоубийц по большому безумию и идеологических самоубийц (которые сознательно ушли в небытие, руководствуясь губительной идеей).

Среди самоубийц поневоле Достоевский отмечает людей, слабых по духу, уничтоженных сложными жизненными обстоятельствами, людей, доведенных до крайности. Так, в статье «Среда» Достоевский пишет о женщине, которая прошла через великие испытания: терпела унижения и побои от мужа; законный супруг на глазах у ребенка цинично изводил свою жертву, упиваясь особой жестокостью; морил голодом, заставляя побираться по соседям; нагружал тяжелой работой; довел до помешательства, вследствие чего женщина повесилась в присутствии маленькой дочери, которая в самый пик развязки слезно вопрошала: «Мама, на что ты давишься?» (21; 21)

Достоевский не оправдывает самоубийство, но осуждает «среду», способствовавшую этому страшному злодеянию. К примеру, Достоевский открыто выступает против следственных и судебных органов, что закрывали глаза на домашнее насилие, советовали бедной, до смерти избитой и обезумевшей от побоев женщине «жить согласнее» с мужем; автор также негодует, почему истинный виновник всех циничных преступлений — муж самоубийцы — был помилован судом присяжных.

Достоевского здесь потрясает и обескураживает либеральная позиция суда, заключающаяся в оправдании преступника, посрамившего самое ценное — жизнь и здоровье человека; в этом писатель усмотрел не гуманизацию отечественного судопроизводства, а полную дискредитацию ценности человеческой жизни, поскольку невозможно, по мнению автора, оправдать тирана, который за ноги вешал свою жену, бил ее веревками и палками, ремнями и плетью на глазах у корчащейся от страха девочки: «Под конец ему нравилось тоже вешать ее за ноги, как вешал курицу. Повесит, должно быть, а сам отойдет, сядет, примется за кашу, поест, потом вдруг опять возьмет ремень и начнет, и начнет висячую...» (21; 21)

Достоевский считает, что средой невозможно извинить преступления, но должно проявить милосердие к самоубийцам, ставшим жертвой сложных обстоятельств. В оправдание своей позиции Достоевский приводит пример

молодой девушки (статья «Два самоубийства»), решившейся покончить с собой, потому что «никак не могла приискать себе для пропитания работы» (23; 146). Примечательно, что девушка-смертница выбросилась из окна, держа в руках образ, что, по мнению писателя, является странной и неслыханной в самоубийстве чертой: «Это уж какое-то кроткое, смиренное самоубийство. Тут даже, видимо, не было никакого ропота или попрека: просто — стало нельзя жить. “Бог не захотел” и — умерла, помолившись» (23; 146). В этом самоубийстве Достоевский видит коллективную вину за неучастие в жизни ближнего, за отсутствие в современном обществе практики деятельной любви.

Если самоубийцам поневоле Достоевский скорбно сочувствует, то в отношении самоубийц-безумцев писатель крайне категоричен: это люди, уничтоженные собственной гордыней и эгоизмом, нравственно искалеченные существа, до дикости неразвитые. Примером подобного истолкования может послужить следующее послание самоубийцы своему родителю: «Милый папаша, мне двадцать три года, а я еще ничего не сделал; убежденный, что из меня ничего не выйдет, я решился покончить с жизнью...» (22; 5) По мнению Достоевского, в этом эпизоде особый цинизм сопряжен с надменной гордыней, которая нисходит до крайне «полного свинства» (это «кариатура» на либерально мыслящую молодежь, которая утратила праведные ценности).

Однако в большей мере внимание Достоевского приковано к особому типу личности, решившемуся свести счеты с жизнью, — это идеологический самоубийца (человек, который по шаткости понятий и убеждений, предаваясь ложной идее, совершает такой страшный поступок).

Так, в статье «Одна несоответственная идея» Достоевский рассуждает о самоубийстве молодой акушерки, которая *устала* жить и решила *отдохнуть* в могиле: «Чрезвычайно характерно одно письмо одной самоубийцы, девицы, приведенное в “Новом времени”, длинное письмо. Письмо даже сварливо, нетерпеливо: — отстаньте только, я устала, устала. “Не забудьте велеть стащить с меня новую рубашку и чулки, у меня на столике есть старая рубашка и чулки. Эти пусть наденут на меня” <...> “Мой вид на жительство в чемоданной крышке”» (23; 25).

Достоевского здесь поражает не столько идея, в основе которой — утрата смысла жизни, ее полнейшая непереносимость, сколько особый цинизм, которым продиктовано это письмо: «Она не пишет *снять*, а *стащить*, — и всё так, то есть во всем страшное нетерпение. Все эти резкие слова от нетерпения, а нетерпение от усталости» (23; 25).

Этот цинизм определяет не просто уход в небытие с особой формой жестокости по отношению к близким, которые непременно будут скорбеть; этот цинизм определяет особый статус идеологического самоубийцы, его позиции. Эти идеи и позиции — самые разнообразные по своим смыслам, однако их объединяет одно — стремление уйти из жизни громко, вызывая, исторически; например, так этот уход звучит в еще одной предсмертной записке юной самоубийцы: «Предпринимаю длинное путешествие. Если самоубийство не удастся, то пусть соберутся все отпраздновать мое воскресение из мертвых бокалами Клика. А если удастся, то я прошу только, чтоб схоронили меня, вполне убедаясь, что я мертвая, потому что совсем неприятно проснуться в гробу под землю. *Очень даже не шикарно выйдет!*» (23; 145) (из статьи «Два самоубийства»).

В статье «Приговор» Достоевский пишет о самоубийце *от скуки*. Его уход в небытие — это протест, это бунт против существующего миропорядка, приговор самому себе и законам природы: «...какое право имела эта природа производить меня на свет, вследствие каких-то там вечных законов? Я создан с сознанием и эту природу создал: какое право она имела производить меня без моей воли на то, сознающего?» (23; 146).

Как позже отметит писатель, «мой самоубийца есть именно страстный выразитель своей идеи, то есть необходимости самоубийства, а не индифферентный и не чугунный человек. Он действительно страдает и мучается, и, уж кажется, я это выразил ясно.<...> В чем же беда, в чем он ошибся? Беда единственно лишь в потере веры в бессмертие» (24; 48).

Достоевский скорбит по самоубийцам, он считает суицид высшей степенью безумия. Причина таких моральных расстройств — в несправедливых идеях, в утрате Бога, потому что без веры в бессмертие, в высший синтез жизни существование человека невыносимо: «Милые, добрые, честные (всё это есть у вас!), куда же это вы уходите, отчего вам так мила стала эта темная, глухая могила?» (23; 26)

Несправедная идея, как показывает Достоевский, может уничтожить даже хорошего, нравственно полноценного человека. Пример тому — Кириллов, персонаж романа «Бесы», умнейший человек своего времени, талантливый инженер, чуткий душой и сердцем, герой с задатками «абсолютной положительности», с богатым внутренним миром. В приватной беседе Кириллов, в сознании которого, как мы помним, наблюдается стремление преодолеть и победить земные законы существования, именно поэтому он задумал добровольно уйти из жизни, преодолев страх смерти и доказав свое превосходство, сообщает Николаю Ставрогину о том, что он воспринимает жизнь как рай, воображая яркий зеленый лист и палящее солнце зимой, что он благодарен пауку просто за то, что тот ползет, и *даже готов молиться на него*. Желание молиться даже пауку свидетельствует о том, что он принимает этот мир, который хочет покинуть, целиком и без остатка как аллегорию счастья и как божественное творение: «Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому. Кто узнает, тот сейчас станет счастлив, сию минуту» (10; 188).

Но этот герой как русский нищезанец [6, с. 132], напомним, жертва своей же пагубной идеи о сверхчеловеке, способном преодолеть страх смерти: «Если Бог есть, то вся воля Его, и из воли Его я не могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие... Я обязан себя застрелить, потому что самый полный пункт моего своеволия — это убить себя самому...» (10; 470).

Н. А. Бердяев справедливо отмечал, что «образ Кириллова в “Бесах” есть самая кристальная, почти ангельски чистая идея освобождения человека от власти всякого страха и достижения состояния божественного» [7, с. 69]. Иными словами, идея Кириллова продиктована личной драмой человека и его утопией: невозможно покорить законы природы, неосуществима гордая мечта сверхчеловека стать выше основ мироздания. Нравственное крушение героя и его теории очевидно: жажда самоотречения побеждает веру в жизнь, поскольку, как верно было подмечено О. С. Кренжолек, ценности героя базируются на оправдании такого злодеяния, как самоубийство, на безнравственности,

основанной на подмене понятий, выдаваемой за стремление к колоссальному общечеловеческому счастью [16, с. 94].

Антиценности смерти Достоевский противопоставляет свою виталистическую концепцию мира, обостренное и иступленное чувство жизни. Витализм Достоевского базируется на христианской и святоотеческой традиции, в основе которой — высший синтез жизни, где заключены благодать, счастье, идея ценности земных благ и нравственного совершенствования человека как его приготвление к Царству Небесному (по Д. В. Скрынченко) [31], «главный источник истины и правильного сознания для человечества» (24; 49–50).

Неслучайна в связи с этим увлеченность Достоевского сочинениями Тихона Задонского, для которого, по мнению Т. С. Карпачевой, «свойственно радостное, пасхальное восприятие Бога и мира» [32]. Тихон Задонский для Достоевского есть не что иное, как олицетворение восторженно-поэтической личности, славящей чуда Божии как открытие сакрального ощущения счастья для человека и человечества. Многие герои Достоевского — «аксиологические» наследники Тихона (для Макара Долгорукого, героя романа «Подросток», характерно утверждение земного рая как Божьего промысла, утверждение неподдельного ощущения счастья от диалога с Божьим творением; в созерцании старца Зосимы, героя романа «Братья Карамазовы», Бог есть символ праведной жизни и смерти, символ просветления и озарения; старший брат старца Зосимы Маркел просит прощения у птичек и искренне верит в подобный диалог как богообщение, что рождает в нем непосредственное ощущение радости жизни и определяет его грешную сущность в устремлении найти абсолютное проявление любви и благородства через Бога).

Витализм Достоевского транслируется в «Дневнике писателя» в самых разных художественных произведениях — в больших и в малых формах, в простых и сложных сюжетных линиях и фабульных структурах. Так, в рассказе «Столетняя» изображается «маленький» человек — столетняя старушка — с большой потребностью жизни. В простой сюжетной ситуации — встреча двух женщин (одна — на рассвете, другая — на закате жизни) — в самом прозаичном и будничном диалоге о житье-бытье высвечиваются в сознании почтенной годами женщины ценности жизни высшего порядка: несмотря на возрастные проблемы, в Столетней не утрачена радость жизни, героиня рассказа во всем видит светлые стороны своего существования, любит семью, не лишена маленьких удовольствий, даже строит планы на будущее (третий год собирается в лес за грибами). В финале Столетняя умирает, но ее уход ознаменован благолепием прожитой человеческой жизни: «Только разве в самой минуте смерти этих столетних стариков и старух заключается как бы нечто умиленное и тихое, как бы нечто даже важное и миротворное: сто лет как-то странно действуют до сих пор на человека. Благослови Бог жизнь и смерть простых добрых людей!» (22; 79)

В рассказе «Мальчик у Христа на елке» высвечивается благословенный образ Царствия Небесного, где *оправдалась* жизнь несчастных детей, полная лишений и страданий, жизнь всех униженных и оскорбленных, где прекратились человеческие страдания, где состоялась высшая справедливость — каждый обрел то, о чем мечтал в земной жизни, каждый нес свой крест не бессмыс-

ленно: все несчастные и искалеченные судьбой дети и их родители обласканы Христом и удостоены чести быть на *Его* празднике, испытав неподдельное ощущение счастья.

Герой-рассказчик «Кроткой» не выносит хрупкого тоненького тельца своей жены, которая при жизни от него добра не видела; герой не принимает правды свершившейся смерти, он как будто *требует* воскрешения: намеренное отрицание смерти и взыскание справедливости в сознании персонажа — это не только факт признания своих ошибок и раскаяния за искалеченную судьбу женщины, но и стремление с жизнью обрести рай в душе. Без нее жизнь не имеет смысла, поэтому герой мечтает воротить время вспять, чтобы избежать всех своих ошибок, чтобы любить ближнего своего и полноценно радоваться жизни: «Слепая, слепая! Мертвая, не слышит! Не знаешь ты, каким бы раем я оградил тебя. Рай был у меня в душе, я бы насадил его кругом тебя!» (24; 35).

Мы видим, что в этом исступленном монологе герой не просто обретает свои человеческие качества, он готов простить жену за «тиранию бунта» [35], он готов молить о прощении за унижения и обиды, он готов к новой благословенной жизни. Обретение жизни у героя продиктовано, по мнению А. В. Денисовой, переживанием страшных и высоких «в своей трагичности минут — через страдание — к истине. Это момент катарсиса, прорывающийся в почти исступленных финальных словах, обращенных к миру, людям» [11, с. 390].

В рассказе «Сон смешного человека», где тоже продолжается, только в художественной форме, осмысление философии самоубийства, жизненный опыт героя диктует ему необходимость свести счеты с жизнью; герой потерял самого себя, он посчитал свое существование абсурдом. Герою данного сочинения, который решился на этот отчаянный поступок, снится сон о том, как он довел до логического завершения свой замысел и оказался на том свете. Попав в мир иной, он чувствует себя как будто в раю. Именно во сне, любуясь всей сокровищницей Божьего мира, он понимает, *что* потерял, ему катастрофически не хватает своей, родной земли: «Я люблю, я могу любить лишь ту землю, которую я оставил, на которой остались брызги моей крови, когда я, неблагодарный, выстрелом в сердце мое погасил мою жизнь» (25; 111). Смешному Человеку снилась иная жизнь (оторванная от реальности в своем сакральном смысле), и эти сны, почти галлюцинации, облеклись в кровь и плоть его мыслей о том, что невозможно быть несчастным.

Восприятие благодного Божьего мира во сне и ощущение гармонии с природой помогло герою заново пересмотреть свою жизнь и свои убеждения, и он сам осознал, как живой образ наполнил добром его душу и привел его к вечной и незыблемой истине: «<...> я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. *Я не хочу и не могу верить в то, чтобы зло было нормальным состоянием людей*» (25; 118) (выделено мной. — Д. Б.).

Не случайно в связи с этим автор именуется жанр рассказа фантастическим, потому что слишком сверхъестественно обозначено нравственное прозрение героя, осознание своих и чужих ошибок. Что увидел герой во сне? Он не только созерцает красивый и благодный мир, он воспринимает еще тот мир, который

посчитал его лишним и заставил покончить с собой: мир, полный несправедливости, мир, отравленный человеческими пороками. Однако уже этот мир заставляет героя испытывать не ненависть, а скорбь и ответственность за судьбу человечества. И герой обретает смысл жизни — жить во благо других людей: «Главное — люби других как себя, вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться. <...>А ту маленькую девочку я отыскал... И пойду! И пойду!» (25; 119)

Как признается сам Смешной Человек, сон возвестил ему новую, великую, обновленную, сильную жизнь. Сон вывел его из аксиологического кризиса, помог преодолеть пустоту жизни, найти свое место в этом мире. Сон кардинальным образом меняет жизнь героя, который обрел Истину; теперь он жаждет жизни, восторгается своим могуществом, своей безграничной способностью творить Добро, т. к. он верит в Царствие Земное, ради которого готов даже пойти на распятие. Именно постижение жизни как универсальной ценности вывело героя, выражаясь словами В. В. Борисовой, «от мировоззренческого принципа “все равно” к осознанию своей ответственности и вины за судьбу мира» [8, с. 90].

Таким образом, ценность жизни определяется у Достоевского в ее способности открыть человека. Соотношение ценности жизни и антиценности смерти в «Дневнике писателя» демонстрирует: общество и в реальности, и в фантазии героев культивировано деструктивными идеями, общество нуждается в нравственном оздоровлении: нужна истина, нужны праведные идеи, нужны высокие ценности. Для Достоевского жизнь есть Дар Божий, который определяет и смысл существования человека на земле, и доказательство Бытия Божьего, и потребность быть счастливым, а главное — идею бессмертия как главный источник истины. И Достоевский как гениальный писатель заставляет читателя поверить в то, что возможно обрести счастье, которого, казалось бы, и нет, ибо счастье — в самой жизни.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анисимов С. Ф. Духовные ценности: Производство и потребление. — М.: Мысль, 1988. — 253 с.
2. Архангельская Р. В. Проблема ценности жизни в философии жизни // Философия ценностей: материалы рос. конф. (Курган, 15–16 апреля 2004 г.). — Курган, 2004. — Вып. 2. — С. 106–108.
3. Бабаджанов И. Х. Право на жизнь в аксиологическом измерении // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. — 2010. — № 1. — С. 63–67.
4. Баева Л. В. Ценности изменяющегося мира: экзистенциальная аксиология истории. — Астрахань: АГУ, 2004. — 277 с.
5. Баева Л. В. Экзистенциальная природа ценностей: дис. ... д-ра филос. наук. — Волгоград, 2004. — 350 с.
6. Белов С. В. Роман Ф. М. Достоевского «Бесы»: некоторые аспекты восприятия // Вестник СПбГУКИ. — 2013. — № 4 (17). — С. 130–136.
7. Бердяев Н. А. О русских классиках. — М.: Высшая школа, 1993. — 368 с.
8. Борисова В. В. Малая проза Достоевского. — Уфа: БГПУ, 2011. — 144 с.

9. Гребеньков Г. В. Аксиологический подход к проблеме человека. — Донецк: ДПИ, 1992. — 186 с.
10. Давыдов В. В. Жизнь как ценность: личность и витальное начало в «Записках охотника» И. С. Тургенева // Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. — 2015. — № 2 (26). — С. 20–25.
11. Денисова А. В. «Страдание тут очевидное...» («Кроткая» Ф. М. Достоевского в контексте «Дневника писателя» за 1876 год) // Российский гуманитарный журнал. — 2014. — Т. 3, № 5. — С. 388–393.
12. Достоевская А. Г. Солнце моей жизни — Федор Достоевский. Воспоминания: 1846–1917 гг. — М.: Бослен, 2016. — 769 с.
13. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. — Л.: Наука, 1972–1990.
14. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. — М.: Терра, 2008. — 400 с.
15. Карпачева Т. С. Отражение образа Свт. Тихона Задонского и его сочинений в творчестве и мировоззрении Ф. М. Достоевского // Проблемы исторической поэтики. — 2011. — № 9. — С. 216–231.
16. Кренжолок О. С. Теория Человекобога у Ф. М. Достоевского и Ф. Ницше // Вестник Вятского государственного университета. Филология и искусствоведение. — 2009. — № 3. — С. 94–99.
17. Кунильский А. Е. Витализм в русской литературе первой половины XIX века // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. — 2017. — № 1 (162). — С. 55–60.
18. Кунильский А. Е. О понятии «жизнь» в русской литературе XIX века // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. — 2012. — № 3 (124). — С. 64–67.
19. Кустовская М. А. Концепция «живой жизни» в творчестве Ф. М. Достоевского // Проблемы исторической поэтики. — 2011. — № 9. — С. 169–179.
20. Линик Л. Н. Правовое понятие жизни // Право и жизнь. — 1994. — № 4. — С. 56–63.
21. Мазель Р. О. Сцены счастья в романах Достоевского // Проблемы исторической поэтики. — 2013. — № 11. — С. 165–179.
22. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. — М.: Смысл, 1999. — 425 с.
23. Миронова Е. В. Теоретический подход к определению понятий здоровья и здорового образа жизни // Известия ПГПУ. Естественные науки. — 2006. — № 1 (5). — С. 128–133.
24. Мочульский К. В. Достоевский. Жизнь и творчество. — Париж: YMCA-Press, 1980. — 563 с.
25. Накамура К. Чувство жизни и смерти Достоевского. — СПб.: Дмитрий Буланин, 1997. — 337 с.
26. Ницше Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей. — М.: Культурная революция, 1994. — 352 с.
27. Панищев А. Л. Человек и его жизнь как высшие ценности в христианском государстве // Современные наукоемкие технологии. — 2006. — № 3. — С. 28–33.
28. Рокич М. Природа человеческих ценностей // Свободная пресса. — 1973. — № 5. — С. 20–28.
29. Ромашов Р. А. Правовая культура: ценностный аспект // Правовая культура. Научный журнал. — 2006. — № 1. — С. 7–10.
30. Севиндж М. С. В поисках смысла жизни. — Баку: Тэбиб, 2010. — 284 с.

31. Скрынченко Д. В. Ценность жизни по современно-философскому и христианскому учению. — СПб.: Реприт, 1908. — 192 с.
32. Сухина И. Г. Аксиология культуры: философско-антропологические основания. — Донецк: ДонГУ, 2011. — 560 с.
33. Флоренский П. А. Столп и утверждение истины: Опыт православной теодицеи. — М.: АСТ, 2003. — 640 с.
34. Чавчавадзе Н. З. Культура и ценности. — Тбилиси: Мецниереба, 1984. — 171 с.
35. Юрьева О. Ю. Бунт против тирании и тирания бунта // Достоевский и мировая культура. Альманах. — № 21. — СПб., 2006. — С. 91–103.